

Гоголь И.В.

Его останки вырыли из земли, частью растащили, частью отвезли на другое кладбище и похоронили еще раз. В университетской церкви, где его отпевали, теперь развлекает публику студенческая самодеятельность. Разорена и приходская церковка, где он обрел утешение в скорби, пока еще мог выйти из дому. Робким посетителям показывают здесь то аквариумных рыбок, то диковинные лесные коряги. А в доме, где он умирал, расположилась городская библиотека: комната, в которой он угас, заставлена стеллажами с технической литературой, на окнах — решетки...

**Д**А, ЭТО — о Гоголе, чье имя мы привыкли видеть рядом с Пушкиным, рядом с Достоевским и Толстым. Но в пристанционном домике, где скончался Толстой, устроен мемориальный музей, и в последней квартире Достоевского — тоже, и на Мойке у Пушкина — разумеется, хотя после смерти поэта чего тут только не было: от канцелярии железной дороги до охранного отделения. Достоевский так и не дождал до открытия мемориала на Мойке, но еще в пятнадцать лет по дороге в Петербург сговаривался с братом, приехав, «тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух».

Воссоздание пушкинской квартиры, растянувшееся на многие годы, началось с того, что в кабинете огородили столбиками со шнуром то место, где стоял диван, на котором поэт умер. Последние сутки, пытаясь хоть как-то облегчить его страдания, рядом неотлучно находился литератор и врач Владимир Иванович Даль. «Ужас невольно обдавал меня с головы до ног, — вспоминал он, — я сидел, не смеядохнуть, и думал: вот где надо изучать опытную мудрость жизни, здесь, где душа рвется из тела, где живое, мыслящее совершает страшный переход в мертвое и безответное, чего не найдешь ни в толстых книгах, ни на кафедре!» А Плетнев говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти».

Это можно прочесть в любой библиотеке, услышать в любом пушкинском музее, вплоть до того пустынного мемориала, что открыт наконец в наемном московском доме, где поэт провел свой медовый месяц. Но пережить великое таинство ухода, как пережил его Даль, можно лишь там, где оно свершилось. И поколебать вечный страх смерти вероятнее там, где от него, по признанию Плетнева, уже удалось однажды освободиться, — у пушкинского оврага в квартире на Мойке. А музей... медового месяца, естественно, настраивает посетителя на совсем другие впечатления. И кто поручится, что это специфическое любопытство привело бы Пушкина в восторг, а не в бешенство. Но что было делать москвичам, мечтавшим о мемориальном музее, если дом, в котором родился поэт, скорее всего снесен, если, наезжая в Москву, он ненадолго останавливался у друзей, а умер в Петербурге.

Вот бы и вспомнить теперь, что в километре от вожделенного московского мемориала, на бульваре близ Арбатской площади, цел особняк, в котором ровно сто сорок лет назад завершилось земное поприще Николая Васильевича Гоголя. Тот самый особняк, что занял сейчас массовой библиотекой. И то уже хорошо, что не охранным отделением, хотя Гоголь и библиотеки не очень жаловал. «Здесь все политика, — писал он из Парижа, — в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал». Но это — к слову.

При жизни Пушкина самое веское суждение о нем произнес Гоголь. На известие о его кончине он отозвался в письме к Плетневу: «Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не вообразил его пред собою». И далее: «Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание... Я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо — и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!» Удивительно, что Гоголь, не зная о том, дословно повторяет здесь жалобу умирающего Пушкина. «Ах, какая тоска! — говорил он Далю. — Сердце изнывает!»

Прошло почти полтора десятилетия. И когда за три месяца до смерти Гоголя Анненков напомнил ему о Пушкине, то увидел, как «переменилась, просветлела и ожизлилась его физиономия». Начатая по настоянию Пушкина работа над «Мертвыми душами» заканчивалась тут, в доме на Никитском бульваре, где Гоголь поселился у своего друга и покровителя графа А. П. Толстого. Не раз Александр Петрович слышал, как Гоголь один в запертой горнице будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом». Еще за девятнадцать дней до смерти Гоголь писал Жуковскому: «Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же». А за девять дней ночью после долгой молитвы он сжег в печи не дававшие ему покоя рукописи.

**Н**ЕТРУДНО заметить, что Андрей Болконский умирает у Льва Толстого от пушкинской раны. И пуля Дантеса, и осколок французской гранаты угодили в правую сторону живота. В обоих случаях были раздроблены кости, вытекло много крови, началось воспаление... После вскрытия Даль констатировал, что смерть Пушкина могла последовать, во-первых, «от истечения кровью», во-вторых, «от воспаления брюшных внутренностей обще с поражением необходимых для жизни нервов и самой оконечности стеновой жилы», в-третьих, «самая медленная, томительная от всеобщего изнурения, при переходе пораженных мест с чагноением». «Раненый наш, — заключает Даль, — перенес первое и потому успел приготовиться к смерти, проститься с женою, детьми и друзьями и благодаря Богу, не дождал до последнего, чем избавил и

## Владимир РАДЗИШЕВСКИЙ



# На бульваре близ Арбатской площади

себя и ближних от напрасных страданий». Андрей Болконский умирал не двое суток, как Пушкин, а несколько недель, и все, что было отмерено Пушкину, достается ему. И тут уже поражают совпадения с тем, как умирал Гоголь.

Примерно за месяц до смерти Гоголя после быстрой болезни умерла Е. М. Хомякова, с которой он был дружен. С этого времени мысль о смерти, и прежде не чуждая ему, сделалась, по словам доктора Тарасенкова, «его преобладающей мыслью». «Ничто не может быть торжественнее смерти, — произнес он у гроба усопшей, — жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти». Когда при нем затевались раз-

другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые и что поглощало его всего» — это уже об Андрее Болконском. Но как будто и о Гоголе тоже.

«Ночью с пятницы на субботу, — рассказывает Тарасенков, — он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, послал он за приходским священником, объяснил ему, что он недоволен недавним причащением, и просил тотчас же опять причастить и соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим». Но и в «Войне и мире» «та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу», развернулась во сне. «Многочисленные ничтожные, равнодушные, являются перед князем Андреем. Он гозорит с ними, спорит о чем-то ненужном». Значит, и он слышит «какие-то голоса». И он умирает во сне. И просыпается, чтобы умиротворенно и просветленно принять смерть. «То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытывал, — почти понятное и ощущаемое».

До последних дней на клочках бумаги Гоголь записывал фразу-другую. Может быть, в назидание всем нам, а скорее — себе в поддержку. На полуслове оборвана его ключевая запись: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?» «К чему относились эти слова, — замечает Шевырев, — это осталось тайной». Не ее ли пытается понять Лев Толстой в «Войне и мире», где такой же всепоглощающей мыслью мучается Андрей Болконский? Тогда толстовская загадка — в предсмертном прозрении князя Андрея: «Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику».

Когда последние содрогания тела затихли, когда Наташа заглянула в мертвые глаза князя Андрея и поспешила закрыть их, ею завладело одно: «Куда он ушел? Где он теперь?..» То же самое испытал и Гоголь — в парижском театре, где посмертно чествовали Мольтера: «Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он, и где он слышит это?..» Вероятно, дело здесь не в прямом влиянии, а в общем направлении мысли, естественном для людей, сознательно неслучайности своего присутствия в мире.

Но не так уж и трудно при развитой спорочке резво направить мысль в иное, искусственное русло. Например, подтолкнуть к выводу, что смерть Гоголя была... коллективным религиозным убийством. То есть сначала просто сообщить, что за три с лишним года до смерти Гоголь перебрался в дом графа А. П.

Толстого. Затем решительно объявить, что «встреча с бюрократом николаевско-го режима, мракобесом графом Толстым завершила гоголевскую трагедию». И, наконец, ошеломить дежурным компрометом: «Фанатик православия, Толстой сумел овладеть большим воображением писателя. Он свел Гоголя с изувером-священником Матвеем Константиновским. Старый друг А. О. Смирнова-Россет не раз спешила в Москву, чтобы беседовать с Николаем Васильевичем о православии, о спасении души, о земной юдоли. Вопросы религии занимали Хомяковых и Языковых, у которых все чаще бывал теперь Гоголь». В общем, обложили и дома, и в гостях. И своего достигли: сгубили «великого сатирика». Нет, это не пародия на вычуры столь популярного нынче криминального литературоведения, а всамделишная версия из увесистой книги «Русские писатели в Москве» (М. 1987).

Бумага стерпела и это, как снова и снова терпит навязчивые обвинения Николая I в том, что он подстроил дуэль Пушкина с Дантесом. Но зайдите в мемориальный дом на Мойке — и неуклюжая идеологизированная выдумка рассеется, столкнувшись с вещественным, сугубо музейным знанием эпохи, подлинных обстоятельств и отношений. И в гоголевском доме у Арбатской площади, будь он мемориальным музеем, громкая тирада о «мракобесе» и «фанатике православия» тотчас бы заглохла. Потому что требовала бы доказательств. А начав обличение, допустим, выигрышной цитатой: «В понедельник и вторник на первой неделе поста наверху у графа была всенощная; Гоголь едва мог дойти туда...» — пришлось бы продолжить: «Граф, видя, как изнуряет все это Гоголя, прекратил у себя церковное служение».

**З**АВСЕГДАТАИ городской библиотеки одним махом взбегают на второй этаж в читальный зал, по той самой лестнице, по которой, останавливаясь на ступенях, присаживаясь на стуле, медленно поднимался Гоголь, чтобы провести ночь в теплой молитве. Сколько было радости недавно, когда церковь, где, по преданию, венчался Пушкин, занятая то ли конторой, то ли складом, догадались превратить в концертный зал. А сегодня вчерашние энтузиасты музыкальной культуры соглашаются, что в храме должен быть храм. Для концертного же зала следовало бы найти другое помещение. Ничуть не труднее приспосабливать новое помещение для библиотеки. Есть, кстати, подходящий особняк в том же дворе. Но музей, не одна-две выставочные комнаты, отпираемые время от времени, а настоящий музей, с основательной экспозицией, с тщательно комплектуемыми фондами, с мучительной лестницей на второй этаж и все еще не остывшей печью, музей, который способен вернуть то, что тут было, и укрепить духом (вспомните: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти»), — такой музей может быть только здесь, в доме на Никитском бульваре близ Арбатской площади.

Другого места на земле для него нет.